

Глобальность задачи, поставленной Кузнецовым, вероятно, не может иметь однозначного решения: ибо поэт взялся стихом, организованным в поэмы, осмыслить путь Христа, истолковать самое значимое события в истории человечества.

Само пребывание сознания в этом силовом поле есть область риска: можно уйти так далеко, что возвращение станет условным.

Тем не менее, толкование Юрием Кузнецовым величия огненных столпов событийной силы изначально окрашено собственным участием в грандиозной мистерии: в чём нет ничего предосудительного: каждый задумывающийся в определённой степени становится частью вселенского явления и вселенской катастрофы распятия.

*Памятью детства навеяна эта поэма.
Встань и сияй надо мною, звезда Вифлеема!
Знаменьем крестным окстил я бумагу. Пора!
Бездна прозрачна. Нечистые, прочь от пера!*

Нечистых, разумеется, много: о! в нашей жизни они повсюду: хоть в бизнесе, жадно готовом прибрать к рукам всё, не должное ему принадлежать, хоть в поэзии, где количество пустых экспериментаторов и шутов гороховых, объявленных маяками, чрезмерно.

Прозрачная словесная ткань поэмы словно наброшена на события двухтысячелетней давности, восстанавливаемые кропотливо, и с тою любовью, что не удаётся усомниться: для поэта путь Христа – тема тем.

Мы словно вступаем с поэтом в недра Вифлеемские, чтобы кожей сердца – или сердцевиной души – почувствовать огонь и весть времён:

*Час Назарета склонился в почтенной печали.
Помер старейшина – плотнику гроб заказали.
Только Иосиф лесину во двор заволок,
Ангел явился и молвил: – Исход недалёк! –
Плотник с бревном, дева с милостью – так и бежали.
Груды Марии, как в мареве горы, дрожали.
И наконец под звезду Вифлеема вошли,
Но в Вифлееме приюта нигде не нашли.*

Кузнецов сознательно, вероятно, избегает сложной метафоры, следя за течением прозрачности повествовательного стиха; он уходит от ярких эпитетов, чтобы не застили сути, и пользуется только простыми, как работа плотника, рифмами.

Он концентрируется на главном: духовной силе Христа.

Он точно провидит: для нас, сегодняшних, важно то, что мы можем применить к себе: из арсенала Христовых речений и притч, из образов, данных его жизнью. Вместе с тем – это, что и понятно, очень русский Христос, словно путь его совершался в пределах родной нам, мучительно жившей все века земли, и колыбельная, какую напевает мать, именно от русских колыбельных: над зыбкой младенца:

*Солнце село за горою,
Мела объяла всё кругом.
Спи спокойно. Бог с тобою.
Не тревожься ни о ком.
Я о вере, о надежде,
О любви тебе спою.
Солнце встанет, как и прежде.
Баю-баюшки-баю.*

И чудеса, происходящие внутри стиха, тоже слишком русские, будь то Египет, или странный странник:

*Ратные люди играют огнём и мечом.
Мирное детство играет весёлым мячом.
Дети мячом запустили в Христово оконце,
Он поглядел и увидел, что мяч – это солнце.*

Тайну Христа не разгадать стихом, не просветить лучами иной мудрости; евангельские тексты темны сквозь простоту и подлежат многим толкованиям – часто запутывающим суть корнями ложных посылов; сердцевинный для человечества образ Христа сконцентрирован в сердце каждого поэта, и едва ли можно утверждать, что в русских сердцах он особенно горяч; но дерзновение Юрий Кузнецова – давшего мощный свод, идущий и от древнего, не ветшающего «Слова...», и от былин-старин, и от старообрядческой традиции – завораживает, как поражает многое в отдельных частях поэмы; как удивляет повествовательная её стройность – без провисаний, лакун, словесных срывов и оскользов; и, думается, справедливая оценка поэм – дело далёкого будущего, которое должно отличаться от сегодняшнего мелкого, иссутившегося времени, где Христос и деньги-комфорт-карьера давно: искусно и искусственно – под-вергнуты дьявольской рокировке...

Юрий Кузнецов рассматривал реальность через две призмы: лирического взрыва и метафизического осмысления; и надрывные, криком рвущие пространство стихи об отце, не исключают момента постижения всеобщей тайны: зачем всё так устроено?

*Что на могиле мне твоей сказать?
Что не имел ты права умирать?
Оставил нас одних на целом свете,
Взгляни на мать – она сплошной рубец.
Такую рану видит даже ветер,
На эту боль нет старости, отец!*

И мать, обращённая в рубец боли, и боль, не имеющая возможности постареть, – реалии, учитывая их мощь, чуть ли не от ветхозаветного словаря – как знать, может быть, и давшего возможность существовать мировой поэзии...

И ярый крик, завершающий стихотворение, обрывается холодной пустотой... За какой вдруг мерцает метафизически: неправда! Именно отец принёс счастье: жить.

Поскольку жизнь есть столь щедрый дар, что оправдывает все лихолетья, муки, горести, и существование стихов, совершенно исполненных и вибрирующих многими смыслами, подтверждает это.

А вот отец – идущий через минное поле солдат; идущий, живой, целостный, невредимый, превращающийся в следующий миг в дым...

*Шёл отец, шёл отец невредим
Через минное поле.
Превратился в клубящийся дым –
Ни могилы, ни боли.*

Вероятно, тема отцовства основополагающая в мире; без неё и мир бы не состоялся, но многие завихрения боли и мысли, связанные с этой темой, делают её не столь простой и ясной, как хотелось бы...

Желание расшифровать свои корни равносильно попытке понять загадку отца.

Большие исторические катаклизмы превращают людей в заурядную плазму, оптом лишая их жизнью; стихи Юрия Кузнецова о войне даны под острым углом осознание общей трагедии через частную боль.

А не было бы боли – не было бы и победы.

В начале первой части своей монолитной поэмы о Христе, Кузнецов, декларируя: «Бездна прозрачна», определяет во многом сущность своего творческого метода: заглядыванье в бездну; прорыв в необычайное через волшебное собирание слов.

*Всё пошатнулось, а может, идёт напролом
В рваном и вечном тумане меж злом и добром...*

Туман рван в небольшой степени, чем может из прорех выглянуть та или иная маска, неведомая сущность – но, если речь идёт о нечисти, то, впечатанная в строки поэта, как в смолу, едва ли она когда высунет нос из них, и уж тем более не решится на кошмарные шалости.

Кузнецов творил свой сказ с самого начала поэтической биографии, понимая, сколь опасна реальность познания, и осознавая, что другой у нас нет:

*И улыбка познания играла
На счастливом лице дурака.*

Так завершается «Атомная сказка», ибо любое проникновение внутрь запретного чревато (для поэта в том числе), ибо любой прорыв в запредельность двойственен: будучи ступенькой прогресса, он отбирает нечто важное, обедняя душу.

А поэзия может апеллировать только к душе, иные, вспомогательные её возможности мало интересны.

Мелкость мухи предстаёт огромной, если учесть, как она способна задеть мистическую струну: сознания? Или пространства?

*Смертный стон разбудил тишину –
Это муха задела струну,
Если верить досужему слуху.
– Всё не то, – говорю, – и не так. –
И поймал в молодецкий кулак
Со двора залетевшую муху.*

О! муха в сознание разрастётся до символа, до существа, способного барахтаться во Млечном пути, чья огромность коррелирует с его же таинственностью; и тайна творимого Кузнецовым сказа-мифа щедро проступит словами, никогда не раскрываясь до конца.

Концентрация смысла поэзии в трёх словах блестяще дана у Кузнецова:

Серебристая трещина мысли.

Ибо только подобная трещина может объяснять суть пространства и времени, насколько вообще уместны будут объяснения.

Каталог невероятного – вот как стоит обозначить сумму стихотворений и – тем более, поэм – Кузнецова; каталог сложный, разветвлённый, рассчитанный скорее на потомков, чем на современников, и, будучи снабжены всеми достоинствами, какими обладает поэзия, стихи его, переливаясь серебром и перлами мыслей, выстраивая собственную систему, играющую то древнерусскими яхонтами, то новозаветным алмазным блеском мощно вмещены в действительность, ныне столь равнодушную ко поэзии вообще.

Думается, Юрий Кузнецов одолел высочайший пик, создав свои евангельские поэмы, проследив путь Христа – вполне уже русского Христа – в дебрях дремучих лет: от корней жизненного, плотского начала, до финала, раскрытого в бесконечность, преображающего мир.

Поэмы – концентрация кристаллов его поэзии, в них мерцают – иногда кажется – отдельные стихотворения, суммируясь, выстраиваясь в грандиозные панорамы...

Но движение стихов Кузнецова было логично к этой громаде: постепенно, поэтапно...

Так, в «Атомной сказке» тело лягушки, наименованное «царским», подвергнутое пытке-эксперименту, – словно звучит живая укоризна многим нелепицам человеческого пути.

Мол, можно иначе, без глупой улыбки якобы познанья на «счастливом лице дурака»...

А вот муха, врывающаяся в реальность, – или: взрывающаяся её.

Муха – мелочь бытия: с точки зрения человека – превращается в грандиозный символ соприкосновения всего: общей сопричастности чуду, если угодно.

Или – открывает ту меру всеобщности, о которой писал русский философ Фёдоров:

*Я барахталась в Млечном Пути,
Зависала в окольной сети,
Я сновала по нимбу святого,
Я по спящей царевне ползла
И из раны славянской пила...
– Повтори, – говорю, – это слово!*

Вот так через малое просвечивает великое, неистовое, соединяющее такие противоречивые данности.

И малое, увеличенное поэтом до глобальных обобщений, причудливо играет смыслами, поражая читательское воображение.

О, в стихах Кузнецова много величественного (часто рассмотренного через простоту момента), тут битвы звёзд и неизвестные боги, тут клубящийся поток необычных образов, и если и мелькает ретивая нечисть, то плотно она впечатана в смолу строки, или строфы, точно заговорена, не вырвется.

Но величие лучше:

*Битва звёзд, поединок теней
В голубых океанских глубинах.
Наливаются кровью моей
Вечный снег и следы на вершинах.*

*Но предчувствием древней беды
Я ни с кем не могу поделиться.
На мои и чужие следы
Опадают зелёные листья.*

Листья лет мерцают в глубине таинственного поэтического повествования, слагающегося в современный эпос.

Лаборатория Юрия Кузнецова совмещалась с чудесной кузницей, из которой, пройдя проверку в лаборатории, выходили чудесные изделия стихов, лучевидно облучающие пространство тайной и величием поэтического дела поэта.

Жизнь поэзии – сообщающиеся сосуды, энергия мысли одного поэта перетекает в реальность стиха другого, преобразуясь в новую оригинальность.

Юрий Кузнецов поэт образной мысли, сложной системы сказовых островов смысла, и Михаил Анищенко, считавший Кузнецова своим учителем, переосмысливая пространство жизни и истории по своему, сгустками собственных образов, отчасти переводил мысли Кузнецова в новые регистры.

О, разумеется, Анищенко совершенно самостоятелен: более того, если судить по стиху его, часто вибрирующему абсурдными словосочетаниями, что резко вторгаются в память читающего, у них мало общего – вероятно, влияние Кузнецова было более важно для Анищенко-человека; но вот поэма его «Суд Синедриона» идёт – начинает, по крайней мере, движение-восхождение – от евангельских поэм Ю. Кузнецова. И там, и там раскрывается русский космос осмысления самых важных в истории человечества текстов; он более тяготеет к сказу у Кузнецова, и в большей степени связан с толкованием Евангелия у Анищенко. И там, и здесь сакральная свобода поэтического дыхания: она велика и отливается в значительные, когда несовершенные строки и строфы: она велика, как пространство воздуха. И в этом пространстве происходящее связано с каналом приближения: важнейшей мистерии истории к нам, сегодняшним.

И мы, сегодняшние, можем черпать из творений двух поэтов высоты и силы: такой, какая отрицает свинцовые низины жизни.

Как знать, быть может, дух Юрия Кузнецова знает поэму своего ученика – самостоятельного, сильного мастера Михаила Анищенко, и, если знает, то не может не быть ею доволен...

Метафизический пейзаж Юрия Кузнецова обозначился альфой его пути: уже в «Атомной сказке» речь шла – через конкретику – в метафизическую даль...

Смысловой корень стихотворения: гордыня человека, решившего осваивать внешнее без развития сложных внутренних миров, заложенных в душевном устройстве; потому-то – «И улыбка познанья/ играла на счастливом лице ДУРАКА».

Пик метафизического пейзажа начертан был Кузнецовым в своде поэм о Христе, где через условный план Иудеи проступало русское восприятие Христова космоса.

Будто шёл Христос босым по снегу, будто сгибался под тяжестью креста, сколоченного из берёзовых досок, и путь этот обрывался возле не достижимого мерцания вечно не всплывающего Китежа.

Так, метафизический пейзаж Кузнецова, играя интеллектуальными и образными красками, распределялся по истории и современности, имея такие характеристики высот, какие требуют духовной работы будущих поколений.

Эпохи требовали высказывания: они сами выбирали тех, кто будет говорить за них: используя различные творческие возможности человека: и, конечно, поэтические были одними из главных...

Именно были – поскольку последние десятилетия: в мире раньше, в России чуть позже практически отказались от восприятия поэтического слова, низведя значение его к различным вариантам игр.

... Юрий Кузнецов высказывался за несколько эпох: своеобразно совмещая их, комбинируя, как в монументальных поэмах о Христе, когда сквозь обстановку иудейской древности точно прорастают миры сегодняшнего дня; и словесные орнаменты Кузнецова, ложившиеся на бумагу, чтобы расти из неё, как из своеобразной почвы, к духовным небесам, сияли многими драгоценностями. Были среди них камни мистического окраса, чьи грани-строки впивались в сознание тайнами, не подлежащими разгадке; были стакнутые с юмором варианты осмысления человеческой гордыни, как в ранней «Атомной сказке», были «Откровения обывателя», когда низина противопоставлялась высоте...

Эпоха шумела, рвалась в космос, смущала массу технических открытий; эпоха, в которую вдруг прорывались черти и невиданные чудища, впечатанные, как в смолу, в строфы поэта, чтобы унялся их соблазн баламутить души людские.

Возникало «Молчание Пифагора», свидетельствующее о силе духовного взора поэта:

*Он жил и ничего не мог забыть,
Он камень пронизал духовным зреньем.
Ему случилось человеком быть,
И божеством, и зверем, и растеньем.*

Лирика всегда соплеталась у Кузнецова с высотами метафизики, и огонь, бивший напряжённо из его стихов, должен был

опалить последующие поколения – новыми смыслами, новыми прочтениями старой яви. Что этого не случилось: не вина поэта, а беда наставшей мусорной эпохи...

г. Москва